

НЕТ, НЕ БЫЛ, НЕ ИМЕЮ...

Рассказы

ДВЕРИ

I

Вольный художник Яковлев, последние полгода перебивающийся с хлеба на воду, чуть ли не сказочно разбогател. Почти вдруг, но не совсем.

Старинный приятель, шестерящий на подхвате среди комковых торгашей, давно обещал пристроить работу-другую. И привел-таки толстопузого нувориша, которому, сразу видно, подавай голую бабу или натюрморт в яблоках и с поросенком на блюде. Баловался и такими поделками Яковлев, сбывая их по дешевке на рынке, и выставил тотчас нуворишу парочку, ценную разве что багетом, на какой не скупился для поделок — богатая рама прежде всего и привлекает дилетанта или обывателя. Коль, прикидывает он, такое роскошное обрамление, значит, и полотно ценное, дерьмо ведь в золото не заворачивают. Но нувориш, гад, и глянуть как следует не глянул на подсунутое, а сразу положил глаз на картинку, пристроенную в дальнем углу кухни, служившей Яковлеву залой, спальней и мастерской. Конечно, отирались здесь и дочь с ее мужем, когда варили или пекли, проживая в единственной комнате этого кооперативного рая, спроворенного Яковлевым лет двадцать назад, когда он еще не потерял надежды закабалиться в Союз художников. Однако в Союз, гарантирующий постоянные заработки, его не пустили, поскольку он не скрывал неприязни к коммунистам, а при демократах осоюзоваться сделалось уже поздновато, да и в демократии Яковлев что-то разочаровался. Свобода, пусть и голодная, все же приятнее.

Картинка в углу осталась с той поры, когда он еще тешился надеждой, и была дорога ему не только как щемящее воспоминание о несвершившемся. В картинке, подозревал Яковлев, осталась частица его души. Частица эта, должно быть, и распахнула двери подъезда огромного дома, и вывлекла во двор спрятавшихся было по квартирам жильцов, и вышли они на свет и солнце из четырех заплесневелых стен, и вдохнули запах отцветающей акации, и сели на скамейки супротив друг дружки, и заговорили по-доброму о том, о чем давно уже не говорили, — о жизни, в постылой вроде бы обыденности которой и есть своя незаемная прелесть.

Картинку с частицей своей души Яковлев предлагал на выставку, но на выставку его осмеяли.

— Разве это соцреализм, — сказали, — когда в таком огромном доме всего один подъезд? И что это за название — «Жизнь»? Жизнь — это действие, работа, преодоление. А у тебя протирают задницы на лавках, точно не жизнь вокруг, а сплошное воскресенье. Ну ладно, — проявили милость, — назови свою работу «Воскресенье», может, тогда и выставим.

Яковлев забрал картинку и молча ушел. Частицу души, отданную ей, никто и не заметил. Впрочем, Яковлев особо и не обиделся: на то она и частица, чтобы остаться незаметной, да и одноподъездных пятиэтажных домов и вправду не бывает, а насчет жизни, какая бьет ключом только в трудовые будни, которые праздники для нас, об этом и вовсе спорить не хотелось. У каждого на жизнь свой взгляд, свое понимание ее сущности. И выставил картинку на кухне для самого себя. Смотрели на нее, конечно, и забегающие провести знакомые-приятели. Некоторые картинку даже затылком видели, а кое-кто и на скамейках с вырвавшимися жильцами посидеть и побалакать успевал — перепив, ясно. Но никто и не заикался, чтобы Яковлев подарил или продал картинку. И у него никогда подобной мысли не возникало, хотя, когда прижимало или очень радовался человеку, а в карманах ветер свистел, мог спустить что угодно и снять последнюю рубаху. Странное, словом, свойство имела эта картинка, не имевшая названия, если не считать обиходного, каким про себя и называл ее Яковлев, — картинка. «Жизнь» — это он для выставки придумал, чтобы в каталог могли занести, приняв, да не приняли. И с той поры картинка жила как бы сама по себе и одновременно, не исчезая со стены, в Яковлеве и в других, кто хоть однажды ее увидел.

Нувориш и увидел, будь он неладен.

— Вот эту картинку я возьму, — сказал он.

Друг-приятель обреченно вздохнул — обмывание с Яковлевым какой-нибудь из его проданных работ расстраивалось. Друг-приятель интуитивно понимал, что висящая в углу на стене картинка не продажная. Это как в человеке: можно продать легкое — их два, можно продать почку — их две, руку или ногу — их тоже по паре.

Но сердце — одно, печень, пусть и пропитая, схваченная циррозом, тоже одна, а о душе и говорить нечего. Друг-приятель вздохнул обреченно, затем озлобился на нувориша за его торгашескую бесчувственность, но Яковлев, заметив ломку его настроения, грозящую обернуться для нувориша неприятными последствиями, поспешил перехватить инициативу.

— А чем она вам так поглянулась? — спросил он как бы с пренебрежением. — Картинка как картинка — и все. Разве что подъезд один, хотя такого не бывает.

— Да! — удивился нувориш. — Подъезд один, говорите? И точно, — подошел он ближе к картинке. — Ну и что? — обернулся к Яковлеву. — Пусть и один подъезд. Да двери-то открыты! Открыты, чтобы выпустить, а захочешь — впустить, затем не захлопнувшись...

И захлебнулся воздухом, и заморгал быстро-быстро мелкими своими глазенками на откормленной физиономии, удивившись собственному толкованию, очень складному в его разумении. Проняло это толкование и Яковлева: он-то думал, что частица его души в картинке просто живет, а она, оказывается, еще и двери придерживает, чтобы не запахнулись ненароком, чтобы не стеречь людей от пришлых и не преграждать путь выходящим к людям. А нувориш, молча поудивлявшись своему красноречию, заявил уже бесповоротно:

— Да, эту картинку я покупаю.

«Заверните», — он не добавил, но сделал такое движение, как если бы Яковлев картинку уже паковал.

— А ху-ху не хо-хо? — подал было голос друг-приятель, но дальше продолжать не стал, оставшись с разинутым ртом: Яковлев, придвинув табуретку к стене, уже карабкался к картинке, помогая себе палкой, уже снимал ее, два десятка лет неприкасаемую, со стены, чтобы затем и точно обернуть бумагой. Он делал это автоматически, даже не смея думать, что делает. В нем как бы вспыхнуло и погасло солнце. Картинка, осознал он вдруг, отслужила ему свое, выбрав нового владельца, и пусть он нувориш, но и он человек или человеком делается, если разглядел картинку, назвав ее картинкой. Картинка, пронзило Яковлева радостью, была этому торгашу нужнее, чем ему, непризанному и хромоту с детства художнику. И даже хромота исчезла, когда картинка снялась и Яковлев спустился на пол. Рулон воценки, чтобы картинку упаковать, стоял за кушеткой. Но нувориш уже передумал.

— Не надо завертывать, — почему-то шепотом, опять предугадывая действия Яковлева, сказал он. И, почти выхватив, прижал картинку к груди тыльной стороной, прошел беспрепятственно сквозь друга-приятеля, по-прежнему стоящего с открытым ртом, и створки кухонных дверей распахнулись перед ним сами, и другие, выводящие из квартиры, похоже, тоже — щелчка замка не донеслось. От нувориша остались — пятно на стене в углу, где уже, кажется, никогда не висела картинка, да пачка денег на кушетке.

— Сука ты, — без выражения сказал, закрыв наконец рот, друг-приятель. — Лучше бы «котлы» мои продали, — всхлипнул. — Вишь, какие слямзил в одном «комке», — показал он часы немецкой штамповки, привязанные к запястью веревочкой. — Сука! — повторил он, но теперь уже с завистью, граничащей с восхищением. — Это ж ты ему как от самого себя отстегнул!

— Да ладно, — вдруг устав, захромал к двери Яковлев. — Куда двинем? У меня, ты знаешь, нельзя: дочка ругаться станет...

— Ко мне, ко мне! — напаялил шапку друг-приятель. — Моя на сутки в завод ушла, а жратвы оставила — тратиться тебе не придется.

— К тебе так к тебе, — согласился Яковлев. К кому бы ни поехать, куда бы ни пойти, знал он по опыту, окончится все одним и тем же. — Только я сейчас, — и, располовинив пачку денег, отнес большую часть в комнату дочери и зятя...

2

Еды, и вправду, жена друга-приятеля оставила навалом. Под картошку с селедкой, хреновину с холодцом собственного приготовления выпили и одну, и другую бутылку. Говорили вокруг и около — обо всем и ни о чем.

В «комках», говорил друг-приятель, только единицы о будущем думают, начальный капитал сбывая, а остальные одним днем живут, им бы лишь карманы набить, а там хоть трава не расти...

А травы-то уже и нету, говорил Яковлев. Осот, разве, остался, да какая-то колючка на манер ковыля появилась, но совсем не ковыль. А мурава и вовсе исчезла, полынь — и та пропала. И народ пропадает, говорил, спиваясь, вот как мы с тобой...

Пьян да умен — два угодья в нем, говорил друг-приятель. Мы не пьем — мы лечимся. Народ не может спиться. Если б мог — Россия бы давно спилась. Народ, закладывая за воротник, просто резину тянет перед решительным шагом, надеясь, что все само по себе образуется. А еще пьяному — море по колено...

— Где наше море? — вопрошал Яковлев. — Даже Черного лишают. А Черное прежде Русским называлось... Ты вот еврей, — говорил другу-приятелю, — а пьешь, хотя евреи не пьют, я только двух пьющих знаю: тебя да Сашку, — значит, мир и вправду наперекосяк сделался...

— Это я здесь еврей, — говорил друг-приятель, — а там — русский. Ездили мы с Майкой в Белокаменную, очередь недельную отстояли, а нам шиш показали: у вас, мол, мамы русские, а по отцам вы почти гои. Это как у Жириновского: мама — украинка, а папа — юрист...

— А ты бы им сказал, что правозащитник, что срок мотал, — говорил Яковлев.

— Это я в прошлом за правозащитника канал, да и то покуда не посадили, а посадили-то за антисемитизм, коммунисты не дураки были. Помнишь?.. — опрокинул друг-приятель рюмку — пустую, к счастью.

— Ага, помню, — вспомнил Яковлев, — нас тогда на суд не пустили, закрытым его заделали. И строчки твои помню, за какие дело пришили: «Толковые идеи толкают иудеи, но первым от идей страдает иудей...»

— Точно, — заплакал друг-приятель, — это я Карлу-Марлу в первую очередь подразумевал. Когда было, а в посольстве намекнули: стишки-то прежнего направления продолжаете пописывать? «Моссад», видно, не даром хлеб ест, а может, кагешное ФСБ проинформировало... Сказал бы: нет, не пописываю, — пустили бы в земли обетованные, а я им: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин...» А вообще-то я, — перестал плакать друг-приятель, — конечно, еврей — зажидился штамповку продать, привел к тебе нувориша...

До нувориша разговор был как разговор, а тут точно замкнуло. Друг-приятель испуганно глядел на Яковлева — ударил в больное место, ушиб ненароком художника, а художники — натуры чувствительные, картинки для них — дороже детей родных. Разбушуетесь или разрыдаетесь? — гадал друг-приятель. Ни то, ни другое. Яковлев молчал. Нет, не обидел его хозяин дома и стола. Напротив. Двери-то могут и сами распахнуться. Только вот для входящего или выходящего?

— Ты замок слышал? — поднял глаза Яковлев на друга-приятеля.

Тот тотчас понял, о чем речь:

— Нет, не слышал.

— Значит, сами распахнулись...

— Похоже, — согласился друг-приятель. — Он и меня-то не обходил, нувориш, а будто сквозь прошел. Может, конечно, это мне с похмелья примнилось... А насчет дверей на картинке, — прошептал, оглядываясь, — это ведь он насчет тюрьмы говорил. Зацепился-то за твою картинку с одним подъездом. Для всех, мол, здесь вход и выход. Не тюрьма, значит. Тюрьма-то, слышь, хоть и большая, да двери в нее одни для входящих — ши-ро-кие, а другие для выходящих — уз-ки-е. Хотя вроде бы одни и те же. Понимаешь?

— Сложно ты говоришь, — оказал Яковлев, чувствуя, как внутри вспыхивает и гаснет, точно маяк, солнце. — Но — понимаю. Пытаюсь понять, — поправился он. — Себя. И все это, — обвел взглядом стол. — Зачем все это? Ну, выпили, нажрались, опорожнились, сдали бутылки, размножились, почили... Ну, социализм, строительство коммунизма, застой, перестройка, Горбачев, Ельцин, ГКЧП, особый порядок, рынок — не рынок, коммунисты, перекарасившиеся в демократов, демократы, вводящие порядки коммунистов... И Россия — такая большая и такая беспомощная... Мы сами себя в ней вытаптываем. Двери-то вроде распахнули, а все одно за порог переступить не можем — вакуум за спиной, а вернее — в душах и сердцах — не пускает. К нам же, напротив, всяческие дрянь и дерьмо втягивает, как и положено по законам физики. А есть ведь еще законы человеческие. И Божии. Чтоб двери нараспах со всех сторон, чтоб о запорах и не ведали, как когда-то у нас в Сибири.

— Одни сибиряки истинные интернационалисты, — сказал друг-приятель и разлил по стаканам. — «С Интернационалом воспринмет род людской!..» — пропел и, проглотив водку, лег головой на стол и уснул. Яковлев тоже выпил — машинально. И продолжал говорить, говорить — но уже про себя. Обо всем и ни о чем. Это дураку ясно, где белое, а где черное. А он художник и знает, что нет чисто черного, как нет чисто белого. Ночь — это тоже свет и цвет, а день, даже самый белый, может сделаться черным. Друг-приятель, наверное, думает, что у него сегодня черный день. Был бы черным, когда б не двери — распахнуть их вновь еще не поздно. Как тогда, когда писал картинку...

И, закрыв глаза, увидел, как видел прежде, посматривая через тюль, Лену, вышедшую подышать. Она дышала, сидя на скамейке, а он, поглядывая через тюль, писал ее, дышащую, и еще дочку, дышащую в ней и вместе с ней, о которой он тогда думал, что она — сын. Бог дал дочку, но отнял жену. Но это будет позже, когда она умрет родами. А пока скамейка держала ее, как трон. Но вскоре Лене сделалось скучно одной. Она пропала, возвращается, наверное, подумал Яковлев, досадуя, что придется прервать работу, и одновременно радуясь, что Лена станет к нему совсем близкой. Пропала — и вдруг загудело в подъезде, ударив, чуть не вышибив, в двери их однокомнатной, недавно купленной на деньги за хорошую халтуру — интерьер ресторана оформил: «Я-ков-лев! Я-ков-лев!» — ударило. Это Лена, чтоб не подниматься, подниматься тяжело уже сделалось, распахнула двери подъезда и закричала, зовя его, соскучившаяся. И вернулась, покричав, на скамейку, ожидая его и поглядывая наверх, в их два окошка на пятом этаже, вызывая взглядом, хотя и не видя его, спрятанного за тюлем, да и угол зрения такой, что не видишь, стой он даже открыто. А почему видел ее он, об этом Яковлев и не задумывался. Видел — и все, пусть в принципе видеть и не мог. И продолжал, не отзываясь, для чего надо было бы высунуться в форточку или выйти на балкон, писать ее, восседающую на троне, обозванном скамейкой. Откликнулись другие — из квартир в подъезде, кто не был на работе, или волянил в отпуске, или, может, болел, но больше — пенсионеры. Яковлев и сам был пенсионером — с детства, как в кость ноги вцепился туберкулез, а ногу он зашиб совсем маленьким, когда однажды утром попытался догнать восходящее солнце. Не споткнулся